

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОБОЗРЕНИЯ»

© 1993 г., ЭО, № 1

«ЭТО БЫЛА НАУКА, И ЕЩЕ КАКАЯ!»

(Со старейшим российским этнографом
Л. П. Потаповым беседует В. А. Тишков)

В. А.: Леонид Павлович, интересно было бы услышать: с чего началось Ваше увлечение наукой, как складывалась Ваша карьера профессионального этнографа?

Л. П.: Дело вот в чем. Я родился в Барнауле. Это был губернский город, выросший на базе Ползуновского и других серебряных заводов. Город был не маленький, с большим числом каменных строений XVIII в. Много было в городе и технической интеллигенции. Там я родился, там успел четыре класса гимназии кончить, пока ее не упразднили. Отец мой был мелким чиновником, служил в канцелярии Главного управления Алтайского округа кабинета Его Величества. Как-то он взял меня еще мальчишкой с собой в Белокуриху, где лечился от ревматизма. Белокуриха — это в 60 км от Бийска, в предгорьях Алтая. Там находятся знаменитые родоновые источники, не уступающие Цхалтубо. Так вот, пока отец принимал лечебные ванны, я с местными алтайскими мальчишками ловил рыбу в речке Белокурихе. Там я научился говорить по-алтайски. Места мне необыкновенно понравились, я просто влюбился в природу Алтая. Тогда-то и решил — буду ботаником. Это было году наверное в 1910 или 1911. С тех пор попасть именно на Алтай стало моей мечтой.

С этой мыслью я тайно от родителей поступил на курсы лекарственных растений и за время учебы в реальном училище прошел их и получил удостоверение инструктора по сбору лекарственных растений.

В. А.: Тогда, вероятно, еще не было термина для обозначения этой науки — фармакогнозия?

Л. П.: Нет, не было. Так вот. Я закончил курсы и подговорил еще нескольких своих школьных товарищей, и мы весной, окончив учебу в училище, сели на пароход и удрали сначала в Бийск, а оттуда уже собирались идти 100 км пешком до Горно-Алтайска. Тракт проходил между Катунью и Бией, ближе к Катуню, скорее даже по правобережью Катуню. Вот туда мы и стремились. Однако спохватились родители, объявили розыск, нас в Бийске и зацапали. Привели в ЧК, но и у меня, и у ребят были официальные удостоверения, что мы едем на работу. Поэтому нас не только не вернули, но и дали разрешение получить на четырех человек одну подводку, так что мы могли положить свои мешки на подводку. Первая ночевка была около села, где потом жил Шукшин. В пути мы собирали травы, сушили их, нам помогал местный кооператив — тогда ведь кооперативы были.

В. А.: Вы травы отбирали по консультации с местным населением?

Л. П.: Нет, мы сами все травы знали. До сих пор я современным врачам подсказываю. Даже все латинские названия помню. Например, современные врачи не знают, что лечебными свойствами обладал горичцвет весенний — *Adonis vernalis*. Теперь им не лечат. А вот наперстянку знают. Да, но вернемся к Алтаю. Знаете, там мне повезло. На одной из экскурсий в алтайские аилы, куда меня все тянуло, я познакомился с Андреем Викторовичем Анохиным. Он был школьным учителем пения и краеведения в городе Барнауле. К сожалению,



Рис. 1. В. А. Тишков в гостях у Л. П. Потапова в Комарово (февраль 1922 г.). Фото В. В. Балахнова

я учился не в той школе, где он преподавал. По его совету я стал посещать алтайцев, и это затягивало меня все больше и больше, ботаника стала отходить на второй план. К тому же Анохин меня еще и подзадоривал. После возвращения домой я поддерживал связь с Андреем Викторовичем весь год, и уже в следующем — 1922 — он зачислил меня практикантом экспедиции Академии наук — тогда Российской академии наук. Это удостоверение у меня до сих пор есть с печатью губисполкома — о том, что Потапов Леонид Павлович зачисляется в экспедицию Российской Академии наук под руководством А. В. Анохина. И в 1922 г. я уже приехал на Алтай в качестве этнографа и впервые присутствовал на камлании шамана вместе с Андреем Викторовичем. А в 1924 г. в местном издательстве «Алтайский кооператор» вышла моя первая работа — «На камлании». Мы наблюдали за Сапыром Туяниным, замечательным шаманом — он поил из чашечки своего курмужека (так называется антропоморфное изображение души). Был полумрак, необычная обстановка — и я заболел. Я заболел этнографией. И этот год, и следующий, 1923, я провел на Алтае. Другого для себя уже не представлял. А в 1923 г. приехала на Алтай экспедиция из Ленинграда — там и Н. П. Дыренкова была, и Л. Э. Каруновская, Л. Б. Панек, А. Е. Ефимова. Они работали с Анохиным. Интересовали их алтайцы, и частично шаманизм. А Анохин знакомит: вот Леонид, Леонид вас туда отвезет ... Я мог работать даже переводчиком. В следующем году — это уже был 1924 — Анохин убедил их, что они должны меня увести в географический институт (тогда в географическом институте был этнографический факультет). Они, конечно, согласились, переговорили со Штернбергом и Богоразом, а я получил рекомендательное письмо от Анохина к Ольденбургу и Штернбергу, которых тот знал лично. И вот в 1924 г. я приехал в Ленинград поступать на этот самый этнографический



Рис. 2. Интересный разговор. Фото В. В. Балахнова

факультет. А в 1925 г. географический институт был объединен с университетом, так что получилось, что зиму я учился в географическом институте и жил в его общежитии на Мойке, а затем стал студентом университета. В 1924 г. я познакомился со Штернбергом и Богоразом, последний мной заинтересовался, и я стал ежедневно ходить к нему в МАЭ. В музее я проводил все свое свободное время и наконец даже получил работу. Это было для меня особенно важно, так как первое время у меня не было стипендии. Какая же была эта работа? Я переносил книги в новое помещение библиотеки (там, где она и сейчас находится), т. е. из одного конца здания в другой. Работали мы вдвоем, я и студент Сойконен. Носили книги в бельевой корзине и получали за это два рубля в день. Библиотекарем тогда была внучка Радлова, Елена Маврикиевна. Рыжая, сухая, необыкновенно доброжелательная. Так я стал МАЭвцем. А через некоторое время меня взял к себе в секретари Богораз.

В. А.: А что собой представлял музей тогда?

Л. П.: Это было солидное научное заведение, известное широко за пределами нашей страны. Число работающих было небольшим, однако уровень научных работ, издаваемых музеем, был очень высок. Вы знаете, я считаю, что система, при которой музей был одновременно и научным центром, правильна. Мы же сделали музей сначала научно-просветительским, затем просто просветительским, причем в это понятие стали вкладывать свое, упрощенное понимание. Просветительство гораздо более глубокое и широкое понятие, к тому же в наше время оно сильно политизировано.

Но вернемся к 20-м годам. В это тяжелое для меня время Богораз предложил мне написать что-нибудь для «Вечерки», видимо, просто хотел меня поддержать. Он знал, что я пописываю, и всегда мне протезировал. А потом и просто сказал: «Я буду платить вам 40 руб. в месяц, а вы будете помогать мне в работе, исполнять поручения». Что же входило в мои обязанности? Я поселился на углу Торговой улицы и Английского проспекта, ныне улица Печатников, как раз напротив его дома. Квартира Владимира Германовича находилась на противоположном углу. Я должен был с утра приходить к нему, брать мешок — он носил свои книги и бумаги в рюкзаке — и мы пешком, через мост лейтенанта Шмидта, через площадь Труда шли на Университетскую набережную и к себе в МАЭ. После этого я был свободен. Иногда были какие-нибудь поручения, например, сходить в библиотеку, еще куда-нибудь... Но обычно я шнырял по всему музею. Это время я был в распоряжении Нозми Григорьевны Шпринцин,

ссистентки Богораза. В конце рабочего дня я снова взваливал на себя битком набитый рюкзак и мы отправлялись в обратный путь. Снова мост лейтенанта Пмидта, площадь Труда... На углу площади Труда мы покупали шоколад, были такие трубочки, наполненные шоколадными конфетами, и «Красную вечернюю газету». Придя домой, мы вынимали все книги на письменный стол, Богораз садился в кресло, клал на стол ноги и отдыхал. Я же читал ему в это время «Вечернюю газету» и одновременно ел шоколад. Так начиналась моя этнографическая деятельность.

В этнографическом музее в те годы существовал Радловский кружок, который вел Бартольд. В работе этого кружка принимали участие и студенты. Именно там делал я мой первый доклад, написанный на основе полевой работы — все-таки я и с охотниками в тайге был, имел представление о промысле, зверованиях. А в 1925 г. получил первую в своей жизни командировку от университета на все лето и 30 руб. денег. И в следующем году я тоже ездил на Алтай, однако по окончании университета в 1927 г. распределения на Алтай я не получил — там не было мест. И я уехал в Узбекистан, где должен был отработать 3 года. Меня отправили в распоряжение Наркомпроса, который в то время находился в Самарканде. Отправлял меня Александр Николаевич Самойлович. В Узбекистане я получил большую должность: при Наркомпросе была Главнаука, а при Главнауке — отдел научных учреждений, которым я стал заведовать. В моем ведении было около 20 научных учреждений, среди них такие известные, как Ташкентская астрономическая обсерватория, Итабская широтная станция, знаменитая Ташкентская библиотека, музеи, — а какой я был специалист? У меня была большая по тем временам зарплата в 175 руб. Я выговорил себе условие (поскольку меня прислал Самойлович, с которым там очень считались, там его и академиком потом выбрали), что останусь на этой должности лишь при условии, что мне разрешат ездить по всему Узбекистану и собирать полевой этнографический материал. В командировки я мог ездить в любое время, чем активно пользовался, благо расходы были минимальными. Я объездил весь Узбекистан. Собрал около 500 поверий и примет доисламского времени. А со своей руководящей деятельностью я решил так: собрал на первое совещание всех директоров подведомственных мне заведений, благо большинство находилось тут же, в Самарканде либо в Ташкенте, но приехали и из других мест, и объявил: «Вы знаете, я окончил Ленинградский университет, я этнограф и люблю свою специальность, я тюрколог, что же касается руководства, то в этом я ничего не понимаю и поэтому прошу вас и дальше исполнять свои обязанности, а если необходимо что-то подписать — то вы мне покажите, где надо подписывать».

В. А.: Скажите, а по национальности руководители были русские?

Л. П.: Да, русские, как местные, так и приезжие, например, Лясковский. Он сказал на том совещании «Ну, вот и хорошо. О таком руководителе я, например, мечтал». И больше уж меня никто не трогал. Вскоре мы организовали научно-исследовательский институт, переросший потом в Академию...

В. А.: В Узбекскую академию наук?

Л. П.: Да, именно. Организовали мы институт, у меня даже там статья издана по этнографии узбеков. Собирались переезжать из Самарканда в Ташкент. И в это время в Ленинграде был объявлен первый набор в аспирантуру Российской академии наук. Я решил подавать заявление в аспирантуру. Это же мне советовал и Самойлович. В аспирантуру в то время принимали лишь людей, имеющих печатные работы. У меня к тому времени было несколько работ, и я был допущен к конкурсу. Осенью 1930 г. меня вызвали на экзамены. Экзаменационная комиссия под председательством Н. Я. Марра заседала в одном из залов главного здания Академии наук, там, где сейчас находится ЛАХУ. Экзамены держало много народу, все с именами — Ленкоров, Даниекалсон, Костя Державин, сын Николая Севостьяновича, Дыренкова. И Потапов среди них затесался. Этнографов было всего двое: я и Дыренкова. Я поступил, однако на экзамене сорвался. Экзамен был очень строгий, Марр сам председательствовал, в комиссии сидел

кто-то из марксистов того времени, уже не помню кто, кажется, местный, возможно, Бусыгин. Н. Я. Марр задает мне вопрос: «Леонид Павлович, вы очень хорошо отвечаете, я думаю, у нас будет все в порядке. Я только хочу спросить: как вы относитесь к яфетической теории?» А я возьми и бухни, что, дескать, отрицательно. У комиссии шок: как, почему отрицательно? А я что имел в виду, говоря «отрицательно» (мы все тогда увлекались этой теорией — сведением всех языков к четырем первоосновным словам), — мне она казалась неубедительной. Тогда Николай Яковлевич меня спрашивает: «А вы знаете мою теорию?» Я говорю: «Нет, пожалуй, я ее не знаю». «Леонид Павлович! Не зная, отрицаете, да еще в таком тоне?» Ухмыльнулся, и на этом мы разошлись. Мы вышли в коридорчик, сидим, ожидаем результатов. Вызывают нас снова в зал и объявляют оценки. Пять, пять, пять... Все получили пятерки. Потапов — четыре с плюсом. Отомстил. Четыре с плюсом! Да еще с приговоркой: «Теперь, Леонид Павлович, вы будете каждую среду приходите ко мне домой на Седьмую линию и слушать мой семинар по яфетической теории». И я ходил каждую среду слушать яфетическую теорию, честно ходил. Читал обычно не сам Марр, а Иван Иванович Мещанинов...

В. А.: Из Института материальной культуры?

Л. П.: Да, из Академии материальной культуры. В столовой, где шли занятия, стояла школьная доска, лежал мел, и Мещанинов писал все эти формулы. Марр прислушивался, иногда сам выйдет, подойдет к доске, вынет из кармана носовой платок, сотрет написанное — и сам что-то пишет. Потом тем же самым платком вытирал себе ворот. Нас это очень смешило. Да, как бы то ни было, семинары я прослушал. Мне было не все понятно, к тому же я не считал, что Марр действительно марксист. Сам я был убежденным марксистом, остаюсь им и сейчас — не в политическом плане, а в философском. Я остаюсь сторонником марксизма как метода историзма. Без этого никуда не денешься. Можно марксизм не признавать, но если вы настоящий ученый, то непременно к нему придете.

В. А.: Шаманизм, кажется, меньше всего имеет к этому отношение.

Л. П.: Тем не менее это источник. Но вот наступает время окончания аспирантуры. Диссертаций в то время не было, следовательно, защищать было нечего. Аспирантуру я закончил досрочно. К этому времени у нас начались расхождения с Надей Дыренковой — видимо, она меня ревновала к материалу: ведь я и сам оттуда, и алтайцы меня знают, и я даже участвовал в 1927 г. в жертвоприношении. Меня приняли в сеок, я по-алтайски мундуз. Как-то я рассказал об этом на большом совещании в Ленинграде. Узнав, что я своим высоким званием ленинградского студента освятил древний обычай, меня хотели сразу же выгнать из университета, несмотря на то, что обычай не зверский, а родовой. Я вижу: в Ленинграде мне места не будет. Так как диссертаций не было, то я написал книгу «История Ойротии» и поступил следующим образом. Я взял ее с собой в первое же лето на Алтай, пришел в Горно-Алтайский обком партии и показал эту книгу. Секретарем обкома был Гордиенко, русский. Он прочитал рукопись и позвонил в Новосибирск Роберту Индриговичу Эйхе, а Эйхе был в ту пору членом Политбюро. Меня вызвали с книгой в Новосибирск к Эйхе. Эйхе, суховатый человек, принял меня любезно и говорит: «Мы прочитали вашу книжку...»

В. А.: Какой это был год?

Л. П.: Это был 1933 г. «... Мы прочитали книжку, и она будет быстро издана. Поживите у нас несколько дней». Меня отправили на партийную дачу. Я жил на даче в одиночестве 2 дня, пока они что-то решали. Бильярд стоял, а играть было не с кем. Потом вызывает меня Эйхе, и действительно — напечатали мою книжку.

В. А.: Что же послужило основанием такого решения?

Л. П.: Я доказал — именно доказал, основываясь на конкретном материале, что у народов Алтая существовало классовое расслоение и имущественное неравенство. Вот здесь мне по-настоящему пригодился Ленин, его «Развитие капитализма в России». Как вы помните, там Ленин критикует любителей средних

цифр, приводя конкретные данные от и до. Я использовал этот прием для анализа материала переписи 1897 г. Получились поистине чудесные вещи, убедительная картина классового расслоения. Эйхе потом неоднократно в своих работах ссылался на эту мою книгу, когда надо было говорить о существовании в тех местах кулачества и т. д.

В. А.: Мы подошли к тяжелым временам сталинских репрессий. Что могли бы вы рассказать об этом, особенно в отношении малых народов, в отношении шаманства. Коснулось ли все это их?

Л. П.: Да, непосредственно и очень сильно. Шаманов стали обвинять буквально во всем, и, естественно, они в ответ оскалились. Хотя у шаманов давно существовала вражда с миссионерами, но она не шла ни в какое сравнение с начавшейся кампанией.

В. А.: С миссионерами русской православной церкви?

Л. П.: Да. Шаманов обвинили в том, что проводимое ими большое число камланий ведет к уничтожению множества скота, приравнивали к врагам народа и кулакам и выслали. А в 1930 г. шаманов обязали сдать все бубны в сельсоветы. Сельсоветы же пересылали бубны в музей. Я помню, что собралась целая гора этих бубнов, хорошо, Анохин был еще жив, разбирался с ними...

В. А.: Бубны поступали и в МАЭ?

Л. П.: Нет, коллекция МАЭ сложилась до этого, в основном из привезенных Анохиным бубнов. Нет, в 1930 г. просто сдавали бубны в сельсоветы, и все. Анохин потом и меня привлек к определению поступлений. В те годы я уже в бубнах поднаторел, так как имел дело непосредственно с шаманами, поэтому в этнической специфике разбирался. А потом все эти бубны взяли и сожгли. Был тогда такой музейный деятель, который решил, что все это барахло, ни с кем не посоветовался и сжег. Хорошо, у меня хоть фотографии остались. Я тогда много отснял и зарисовал — рисунки делал по моему заказу алтаец Саша Каланаков. Часть из них приведена в моей книжке. Очень хорошие рисунки. Таким образом мы спасли хоть что-то.

В. А.: Это были сотни бубнов?

Л. П.: Нет, пожалуй, не сотни. Но десятки.

В. А.: А число шаманов было каково?

Л. П.: У меня есть статистика только по тувинским шаманам. По алтайским я не знаю, но было их очень много, полагаю, что не меньше, чем у тувинцев. Даже в одном сеоке, в одном роде, было по нескольку шаманов. Опять-таки, ведь были и родовитые, сильные шаманы, и подшаманивающие, халтурщики.

В. А.: Существовали еще и помощники?

Л. П.: Нет, у алтайских шаманов особых помощников не было. Большинство алтайских шаманов были сосланы. Но вот что любопытно. Я встретил вернувшегося из ссылки хакасского шамана, прошедшего 10 лет в лагерях на севере. Беседа происходила в 1946 г. И я хотел порасспрашивать его о Хакасии. Он меня как черт ладана боялся, хотя я пришел к нему с хакасами. Он прятался, убегал, уплывал куда-то на лодке на ночь. Но все-таки однажды я его застал. Он не успел никуда убежать, и пришлось ему со мной беседовать. Я его уговаривал: «Это необходимо для истории, ведь ничего же не записано. Вот ребята, они этого не знают. А на Алтае все это существует. Хочешь, я тебе алтайскую покажу...» И запел голосом шамана с приговором. Он начинает прислушиваться. Я продолжаю, веду рассказ одновременно. «От, от, пожалуй, так же. А это не так». И наконец, начинает сам втягиваться в это дело. Все кончилось тем, что я целых 2 дня с ним работал и напечатал потом в сборнике МАЭ статью «Уникальный предмет шаманского культа», именно по материалам человека, отсидевшего 10 лет и не растерявшего ничего. Все помнил. Так что шаманы многое пережили. Если будет немецкое издание моей книги, то я хочу сделать небольшое предисловие, в котором скажу, что считать шаманов убежденными врагами советской власти нет никаких оснований, они ведь даже часто не понимали, что есть советская власть. Естественно, видя все, что творится

вокруг — а именно физическое уничтожение шаманов — они восприняли это как враждебный акт. Любой образованный человек воспринимался ими поэтому как враг. Но шаманы не обладали ни организационными способностями, ни возможностями объединиться — следовательно, не могли принести никакого особого ущерба.

В. А.: Но вернемся к послевоенным временам.

Л. П.: После войны я опять начал интенсивно ездить на Алтай и в Туву, особенно в Туву. Поездки в Туву заняли у меня 11 лет жизни. Я выпустил три тома материалов тувинской экспедиции, а четвертый так и не успел издать. И конечно же, продолжал ездить на Алтай. В эти годы я очень расширил свой кругозор изучением зарубежных материалов по шаманизму.

В. А.: А зарубежные классики и корифеи насколько были известны? Скажем, тот же Франц Боас, Малиновский... Другими словами, была ли наша этнография изолирована от своего остального мира?

Л. П.: Нет, что вы. Этим много занимался Штернберг, он очень хорошо излагал основные зарубежные теории. Есть его известная работа «Современная этнология. Новейшие успехи, научные течения и методы» (Этнография. 1926. № 1—2. С. 15—43), в которой он рассматривает и Фрейда, и Малиновского, и Гребнера, и пастора Шмидта, так называемую культурно-историческую школу и т. д. Фрезер был очень интересен, Леви-Брюль... Этим интересовались и занимались. Я тоже различными зарубежными школами занимался, но в порядке семинарских занятий. Я вел в институте теоретический семинар, который был очень интересным. Часто выступали на нем Н. А. Бутинов, мой обычный оппонент, Д. А. Ольдерогге, В. Р. Кабо, А. М. Решетов, А. И. Собченко, Соня Маретина, которую я принимал в аспирантуру... Мы даже издавали работы нашего семинара.

В. А.: А Богораз вспоминал о Джессупе, о Боасе?

Л. П.: Конечно же. Оба — и Богораз, и Штернберг. Богораз особенно Боаса любил. Знаете, Богораз мне запомнился вот чем. Сидим мы как-то в его кабинете, это там, где сейчас Кинжалов сидит. Сидим, разговариваем. Веселые все, Ольдерогге недавно из Германии вернулся... И кто-то спрашивает вдруг, может быть, тот же Ольдерогге: «Скажите, пожалуйста, а что такое фашизм?» Богораз и отвечает: «Фашизм? Это коммунизм наоборот...» Очень интересный был человек... Я вспомнил один эпизод, связанный со Штернбергом. Он подарил мне свою статью с дарственной надписью накануне моей поездки к шорцам зимой. И сказал мне: «Леонид, вы едете к шорцам, будете жить в тайге, ходить на промысел — это очень тяжелые условия (он это знал, он сам полевик был). Как у вас с зубами?» «Не знаю, Лев Яковлевич, вроде ничего». «Вы обязательно до отъезда должны показаться зубнику. Сходите к моему брату». Отправил меня к зубнику, тот нашел, что действительно надо что-то запломбировать. Вы представляете себе, что такое больной зуб в тайге — жизнь каторгой покажется. Вот такая это была светлая личность. К сожалению, когда я вернулся из экспедиции, его уже не было в живых.

В. А.: А когда вы возглавили Ленинградскую часть института?

Л. П.: Году в 1948, наверное. В общей сложности у меня было 20 лет директорствования.

В. А.: 20 лет?

Л. П.: Да, 20 лет я сидел в этом кресле. Я бы, может быть, и еще посидел, да не смог сработаться с Бромлеем. Он, конечно, и организатор, и аппаратчик великолепный, и я отдаю ему в этом должное; но он не совсем человек академический науки, а с известным налетом конъюнктурности. Взять и перевернуть всю науку, свести ее лишь к этническим процессам — это не дело. Наука должна быть самая разнообразная. Ведь русская этнографическая наука всегда славилась. Посмотрите старые работы — какие интересные вещи делались в Казани, Одессе, Киеве, Географическом обществе ... Это была наука, и еще какая! И если мы опять вернемся к изучению традиционной культуры, то можем

сделать еще многое, что будет иметь даже практическое применение. Надо дать общую картину традиционной культуры, а не выхватывать отдельные элементы для своих исследований...

В. А.: Вы говорите о системе жизнеобеспечения, социальной структуре...

Л. П.: Да. Это необходимо знать и учитывать, особенно в определенных природных условиях, например в горах, где на тракторе не проедешь... А наши охотники и скотоводы знают все кормовые уголья, знают водопои, знают, где можно пасти скот даже зимой, знают, откуда будут дуть ветры в эту зиму. И все это живет в практике до сих пор. Им надо дать свободу хозяйствовать так, как они умеют.

В. А.: Но, как мне кажется, слабость Бромлея была именно в том, что он не был полевым этнографом. У него был излишний крен в сторону схоластического теоретизирования. Ведь во всех его построениях — ЭСО, этникосах и т. п. — был элемент схоластики.

Л. П.: В этом он был схож слевой Гумилевым. А знаете, Гумилеву я в свое время здорово помог. Он вернулся из последней ссылки, пришел ко мне, сидел вот тут, в этом кресле. И я его поддержал. Я напечатал его работу в сборниках МАЭ, ему ведь тогда есть совсем было нечего. Но вообще он завирака невероятный. Вот хотя бы его знаменитая книга о тюрках. Я ведь на тюрках собаку съел. Читал я ее не отрываясь, задышался от удовольствия, он ведь здорово пишет. Прочитал, решил более внимательно посмотреть, что к чему. Начал снова листать — Боже мой! Чего там только не находил! Вот фантазер! А стихи пишет. Стихи у него хорошие.

В. А.: Он безусловно талантливый человек. Талантливый, однако одно его теоретическое построение я рассматриваю как элемент социального расизма. Я говорю о его рассуждениях насчет пассионарности и межэтнических мутациях. Конечно, я не подразумеваю в этом никакого злого умысла.

Л. П.: Да, я с вами согласен.

В. А.: Мне все время хотелось спросить у него, не смог ли бы он перечислить все народы, заканчивающие свое существование, и те, которые находятся в стадии пассионарности.

Л. П.: Эти построения Гумилева увлекают неспециалистов.

В. А.: Да, «пассионарность» вошла сейчас даже в политический язык. Я недавно прочитал в «Независимой газете», не помню автора: «Ход реформ в процессе демократизации идет по-разному в различных регионах России в зависимости от пассионарности этносов...» или что-то похожее, не помню точно.

Л. П.: Его пассионариев я читал еще в рукописи. Он хотел получить степень доктора второй раз и, по-моему, получил. Первый раз он получил за свою книгу о древних тюрках. Но, вы знаете, когда я просил в одном научном журнале написать рецензию на его книгу, мне ответили, что на беллетристику они рецензий не пишут.

В. А.: Меня очень волнует вопрос с музеем. За последнее десятилетие отсюда не только ушла чисто полевая этнография, а родилась «вторичная», то, что хотя у нас и называется этнографией, на деле же является работой на основе литературы. К тому же в музей приходит все больше и больше людей, не имеющих представления о музейной работе, о музейной специфике. То, что музей в свое время потерял свой музейный статус и стал институтом...

Л. П.: Это было огромной ошибкой, допущенной в отношении целого ряда музеев — зоологического, минералогического... Ведь можно же было создать научно-исследовательский институт, но — при музее. И кроме того, музеи могут быть полностью самокупаемыми...*

В. А.: Да, и последний вопрос, который мне хотелось бы задать. Вы упомянули работу Штернберга «Современная этнология...»

* Решением Президиума РАН от 14 апреля 1992 г. Санкт-Петербургский филиал Института этнологии и антропологии РАН преобразован в самостоятельное учреждение — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого со статусом НИИ РАН.

В МГУ до 1931 г. также был этнологический факультет. Как случилось, что у нас термин этнология исчез, в то время как во всем мире остался?

Л. П.: Знаете, Лев Яковлевич был все-таки за термин этнография. В названии статьи этнология появилась постольку, поскольку работа посвящена различным течениям зарубежной науки, именуемой во всем мире этнологией.

В. А.: Я объясню Вам свою позицию относительно термина этнология и переименования института в Институт этнологии и антропологии. Антропология обязательно должна была появиться в названии института, поскольку у нас и в Петербурге, и в Москве есть отделы, занимающиеся физической антропологией. Этнология же более понятный термин для зарубежных коллег, а то мы уже устали объяснять каждый раз, что есть этнография.

Л. П.: Я против названия «этнология» ничего не имею, это общепринятый термин, понятный.

В. А.: Кроме того, мне хотелось сделать более привлекательным имидж данной профессии в глазах молодежи. Меня очень волнует, что сейчас талантливая молодежь с истфака в этнографию не идет, видя в ней науку старомодную, описательную.

Л. П.: Раньше тоже молодежь не шла. Такие были дебаты — а что нам это даст, что мы будем зарабатывать...

В. А.: Тоже такая проблема существовала?

Л. П.: Да, да еще какая.

В. А.: А все-таки я вопрос ставлю так: этнология — это название дисциплины, а этнография — это наш цех, основа ее, т. е. то, что мы делаем в поле и последующая текстуализация записей, работа с вещественно-предметными источниками, в том числе с музейными коллекциями. То есть музей может быть только этнографический, а наука — этнологией. Согласны ли Вы с этим?

Л. П.: Да, безусловно. Для названия науки этнология подходит больше.